

Эммануэль Ле Руа Ладюри

ЗАСТЫВШАЯ ИСТОРИЯ*

Emmanuel Le Roy Ladurie. L'histoire immobile // Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, mai-juin 1974, v.29, no.3, p.673-692.
© École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1974
Перевод к.ф.н. Н.В.Ефремовой

Предметом курса, который я прочту в этом году, будет социэкономия, конкретнее – традиционная экономография исчезнувшего сегодня мира, «функционировавшего» (если так можно выразиться) с XIV по XVII в. Говоря точнее, речь идет о периоде с 1300–1320 до 1720–1730 гг. В исследовательских целях я ограничиваю этот мир географическими рамками шестиугольника правильной формы – Францией, независимо от того, шла ли речь о территории под трехцветным республиканским или лилейным королевским флагом. В течение этого времени здесь почти постоянно – с небольшими перерывами – проживало от 15 до 20 млн. человек. Аналогичные исследования могли бы быть проведены и на материалах соседних стран, в первую очередь – Германии, Италии, Испании, и когда-нибудь они осуществляются. Иначе обстоит дело в отношении Великобритании. Парадокс состоит в том, что из всех западных стран Англия, где раньше всего (и с какой поразительной интуицией!) исчезнувшее ныне общество было осмыслено как «*Мир, который мы потеряли*»**, была наименее типичным и стабильным образцом обществ этого типа.

Подходы и методы, предлагаемые мной для данного исследования, конечно, не относятся к области традиционной историографии, даже (и особенно) если последняя и стремится стать моложе с помощью прививок. Излишне утверждать, что история как наука есть нечто значительно большее, чем рассуждения о случайном и случившемся, об интригах под луной. Тем более, что подобные рассуждения базируются на отрицании социологии. Размышляя таким образом, мы помещаем историю в прокрустово ложе, величина которого не изменилась со времен Аристотеля и Фукидида. Чтобы не быть обвиненным в сциентизме, я выбираю точку зрения дикаря. Открытостью, но отнюдь не наивностью многих историков школы «Анналов», к которым я причисляю и себя, вызвано большее неприятие Лябруса, чем Риккерта; по той же причине Губер раздражает их сильнее, чем Аммиан Марцелин. Для них исследование случайности невозможно без исследования необходимости, особенно если последняя становится регулярной или статистически вероятной.

* Вступительная лекция, прочитанная в Коллеж де Франс 30 ноября 1973 г.

** Название статьи известного английского социолога и демографа Петера Ласлета. (Прим. ред.)

Безусловно, избрав такой угол зрения, невозможно отрицать новаторскую роль события (даже если оно и не заслуживает реабилитации в духе Сеньобоса), которую ему стремится приписать псевдореволюционная историография, рассматривающая даже существование пограничных сносок в качестве атрибута буржуазности. Тем не менее следует уточнить, что авторы лучших исследований, относящихся к жанру «событийной» истории (я употребляю понятие в его научном смысле, без какого бы то ни было уничижительного оттенка), для определения истинного значения того или иного события берут его в историческом контексте и перемещают в прошлое и особенно – в будущее. И все это для того, чтобы определить, повлиял или нет анализируемый факт на историю. Подобный подход характерен для американских клиометристов школы Фогеля, которые стараются выяснить, действительно ли те или иные крупные события истории Соединенных Штатов, в частности война за независимость или явления из области экономической истории, сыграли роль, отведенную им общепринятой интерпретацией. Следуя схеме воображаемой ими истории (*l'histoire-fiction*), они сначала постулируют отсутствие интересующего их события, а затем прослеживают заново всю следующую за ним хронологическую цепочку фактов. Парадокс подобного подхода заключается в том, что он возвращает ученых к необходимости количественной оценки событий и в конце концов – о ужас! – к использованию старого доброго компьютера. В подобной ситуации о квантификации можно сказать то же самое, что Жан Жорес говорил о родине: немного событийности отдаляет нас от количественной оценки, много же – к ней неизбежно приводит. Впрочем, в такой, поистине специальной области науки, как экономическая история, приверженцам восстановления событийности любой ценой подобный метод аргументации не подходит. Если бы Американская революция не произошла в 70-е годы XVIII в., это ни на шиллинг не изменило бы того, что явилось одним из поводов к войне, а именно цен на табак, которые родина-мать устанавливала для своих плантаторов и колонистов за океаном. В этом смысле наиболее плодотворной оказалась работа историка Поля Буа (Paul Bois), который звено за звеном, цифра за цифрой возвращает из настоящего в прошлое основные тенденции экономической и политической истории своего Боккажа. Во время этого путешествия в прошлое, проделанного в квазипсихоаналитическом духе, автор обнаруживает у истоков консерватизма Запада первоначальную мгновенную травму, нанесенную восстанием шуанов. Таким образом, он приходит в ту точку, откуда с очевидной, тяжелой необходимостью и распространился исходный импульс последующих изменений. Существенное значение имеет, однако, то, что эти изменения выявлены *a posteriori* и не предполагаются *a priori*.

Что же касается истории строго событийной или злободневной, вроде ура-патриотической или революционной, то мне кажется, что она приносит себя в жертву хотя и законному, но зачастую тривиальному требованию. Неудивительно, что в эпоху, когда масс-медиа иногда путают, по выражению Мак-Люэна, «*le message*» и «*le massage*» («послание» и «массаж»), разрушая тем самым логику книги и мысли, злободневная история смогла быстро обрести манеру недистанцированного повествования в духе наших старых средневековых хроник, предшествующих вселенной Гуттенберга.

И все же нет основания для того, чтобы подобное путешествие в прошлое, без сомнения талантливое и превосходным образом отражаю-

ще наш современный менталитет, принималось за что-либо иное, кроме как за то, чем оно на самом деле является, а именно – за свидетельство как таковое, взятое и в хорошем, и в плохом смысле этого слова.

Предлагаемые мной подходы и методы, возможно, и не отвечают требованиям, которые сегодняшняя мода хотела бы видеть в багаже у историка. Уроки марксизма привели меня к заключению, отсутствующему в нем вовсе, а именно, что главный двигатель истории в целом следует искать не в классовой борьбе, а в области экономики, социальных отношений и даже глубже – биологических явлений. По крайней мере, это касается периода, которым я занимаюсь, а также интересующих меня выборов. На самом деле моя ересь вполне простительна, так как речь идет об обществе, не имеющем такой движущей силы как классовая борьба или, по крайней мере, чрезвычайно медленно меняющемся, а именно традиционном. Что касается лингвистики, которую многие мои коллеги, в основном не-лингвисты, почитали за маленькую королеву среди общественных наук, то я ни в коей мере не недооцениваю ее достоинств. Однако – увы! – она находится вне области моих исследований. Действительно, должен признаться, что вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на тот интерес, который вызывают занятия лингвистикой, я из чисто личной склонности совершенно не уделял времени «словам», больше занимаясь «вещами», стоящими за ними. Особенно когда эти «вещи», пройдя через архивы, частично становятся коллективными представлениями, которые, будучи лишены фактологической основы, не редуцируемы к чистому дискурсу. Я имею в виду, например, собственность на землю. Поскольку мы говорим при помощи слов, я, возможно, похож на тех полубезграмотных людей XIX в., которых любит описывать Жак Озуф (Jacques Ozouf). Ведь я с таким трудом научился считать, где уж мне выкроить время на овладение чтением.

По мотивам, повторяю, чисто специфическим, а отнюдь не из пренебрежения, я предпочитаю изучать геологию глубинных пластов, а не увлекательную географию дискурса, без сомнения необходимую для изучения истории культуры. Утолщения и утоньшения, рельефы и впадины дискурса не стали предметом моего специального интереса, в отличие от таких предпосылок глубокого анализа, как картография или начала археологии. Оба вида работ – археологические и геологические – помимо всего прочего имеют дело с техникой раскопок и расчисток, и потому сравнимы между собой.

Наряду с этим одной из моих излюбленных спутниц была и останется этнография. Однако следует признать, что историк в большинстве случаев пользуется этой наукой самым неприятательным образом: с картотекой в руках, он только фиксирует тексты, поднимающиеся из глубин общества, совсем как этнограф, который без усталости опрашивает местных жителей, испещряя записями свой блокнот. По мере того как мы переходим на все более высокий уровень великолепных конструкций этнологии, функционализма или структурализма, классическая история или современная социология часто оказываются очень плохо подготовленными для применения во всем объеме этих широкомащтабных теорий. Несколько лет моего преподавания в наших университетах в качестве профессора оказались достаточно, чтобы доказать тщетность интегрального функционализма, столь дорогого Брониславу Малиновскому. Конечно, случается, что и в нашем Сообществе по пре-

подаванию и исследованиям (UER) кое-что функционирует. Но все же! Санзье – не Меланезия, и Жюсье – не острова Тробриан. Гармонии Малиновского, по существу заранее сконструированные, подходили для коралловых островов, но не соответствуют ни бетонным кампусам, часто подверженным аномии, ни – вне всякого сомнения – другим сферам жизни нашего западного общества. Впрочем, мне могут возразить, что если бы наши университеты однажды лишились каких-либо своих функций, они бы не сохранили своей структуры.

Итак, моя профессия преподавателя напрочь отдаляет меня от функционализма, но сближает ли она меня со структурализмом? По правде говоря, когда-то я видел свое место именно там, и для подобного сближения я не нуждался в каком-то личном или научном поводе. Как я восхищался эффективностью структуралистских методов, в том виде в каком они были применены – и с каким успехом! – при изучении законов родства или мифов Нового Света! Увы! Не всегда эти методы можно воспроизводить или переносить, не нарушая их целостности, на любые отрезки нашего европейского прошлого. Работая в Южной Америке, Натан Вахтель (Nathan Wachtel) смог применить технику Леви-Стросса в отношении далекой, а в некоторых случаях и недавней, истории перуанского общества на уровне мифов, родовых институтов и структур. Напротив, в традиционных либо современных обществах нашего континента институт брака, за редким исключением, слишком открыт и не имеет прочных моральных стандартов – оставляя в стороне относительное постоянство сельской эндогамии – чтобы можно было использовать антропологические сетки как таковые: даже компьютеры ломают себе на этом зубы, хотя они у них очень крепкие. Наконец, применяя методы структурализма, историк испытывает некоторые сложности в связи с необходимостью строго следовать определенной знаковой системе, которая, судя по современному состоянию исследований, больше подходит для других областей знания. Структурализм мог бы быть определен как направление, являющееся просто «методом, старым, как само знание, предназначенным для понимания феноменов, лежащих за пределами непосредственного восприятия, а также для того, чтобы систематизировать их связи и трансформации в совокупности, начиная с небольшого числа переменных» (J.P. Enthoven). Почти полвека лучшие французские историки, от Марка Блока до Пьера Губера, будучи последовательными систематизаторами, использовали структурализм для выявления причинно-следственных связей. Подчас они этого не подозревали, но еще чаще об этом не подозревал сам структурализм.

* * *

В данном журнале, посвященном междисциплинарным связям, было бы уместно отметить значение исследований историков-демографов, к коим я отношу и себя, для собственно психологического знания, а точнее – для психоанализа. Эта область знания на самом деле слишком тесно соприкасается с интересами историка, чтобы тот мог оставаться к ней равнодушным. По правде говоря, я виноват, что мои попытки проникнуть в эту спорную, пограничную область исследований дали довольно скромные результаты.

Конечно, я не претендую на такие же замечательные открытия, которые сделал в этой области Алан Безансон. Я прошел совсем немного по дороге, давно проложенной Зигмундом Фрейдом. Занимаясь иссле-

дованиями, связанными с проблемой ограничения рождаемости, я столкнулся со свидетельствами, относящимися к двум последним десятилетиям XIX в., которые собрал и представил читателям тогда еще совсем молодой венский врач. Беседы с больными заставили его обратиться к проблеме появления birth control (ограничения рождаемости (англ.) – *Прим. пер.*) в высшем обществе австрийской столицы. Фрейд исследовал психологические травмы, причиненные первыми опытами в этой области. Эти травмы, очевидно, объяснялись, если верить туманным интерпретациям того времени, грубым и несовершенным характером применяемых контрацептивов.

Данные, приводимые Фрейдом, в глазах психолога – пройденный этап в развитии медицины. Но для французского историка, не избалованного документами подобного рода, эти тексты Фрейда, относящиеся к области демографической психологии, остаются одним из существенных источников для исследования XVIII и XIX вв.

Точно так же история народных крестьянских и городских религий, постоянно имеющая дело с отклонениями, приводит нас к камизарам и трясунам кладбища св. Медара, соответственно – к гугенотам и янсенистам. И здесь первые работы Фрейда и Брейера об истерии конвульсий, какими бы устаревшими они ни казались специалистам, натолкнули меня на интересные гипотезы в исследованиях конвульсионных истерий прошлого, имевших сексуальное или историко-культурное происхождение.

Однако в обоих описанных случаях интерес для меня представлял ранний Фрейд, автор «Писем к Флиссу» и «Исследований истерии», еще не открывший Эдипов комплекс. Проблемы юношеского возраста, описанные Фрейдом позже, затрагиваются в моих исследованиях лишь эпизодически. Эти исследования не слишком интересны для специалистов, поскольку они больше свидетельствуют об ограниченности моего исторического знания, чем о состоятельности фрейдистского подхода в приложении к исторической науке, что выходит за рамки моей компетенции. В этой связи я вспоминаю о настоящем шоке, испытанном нами теперь уже десятилетия назад, когда мощный голос, донесшийся с улицы Ульм, вернул нас, архивных исследователей, из мира «антидогматических» иллюзий, связанных с «открытием» раннего Маркса, объявив о том, что Маркс никогда не был молодым. С точки же зрения историка, данное утверждение с обратным знаком приложимо к основателю психоанализа. Благодаря специфике моих исследований, я имел дело только с работами, относящимися к молодым годам «Венского мастера», поэтому для меня Зигмунд Фрейд никогда не будет ни старым, ни даже просто зрелым.

* * *

А теперь я позволю себе перефразировать выражение Ролана Барта, которое он впервые употребил по отношению к иной профессиональной корпорации: «В действительности мы формируем других историков, *арьергард из авангарда*». Представителей более сложных дисциплин мы пропускаем вперед, в разведку, часто с угрозой для жизни, через минные поля, лежащие на общем пути. Что же касается нас, историков, то мы широко пользуемся богатствами, накопленными отраслями знания, обладающими количественными характеристиками, а именно демографией, экономикой, даже эконометрикой. Мы без стыда заимствуем – хотя и возвращаем сторицей – из ресурсов демографии

(которая, благодаря нам, стала исторической дисциплиной), а также из наследия марксистской и рикардо-мальтузианской экономики, из современной экономической теории; и, наконец, из кладовой этнографии, правда, наиболее защищенной, по нашему мнению, от набегов историков. При рассмотрении относительно замкнутых систем, в частности, традиционного общества, биологические модели, предложенные Вином Эдвардом (Wynne Edwards), зачастую дают нам больше, чем самые значительные достижения семиотики, идиомы которой мы не всегда понимаем. Тем не менее, мы не стремимся соответствовать быстро преходящей моде, а ощущаем себя продолжателями традиций.

Как известно, в 20-е годы XX в., после длительного периода внутриутробного развития, появилась школа «Анналов», связанная с именами Л.Февра и М.Блока. С 30-х годов Эрнест Лябрус вслед за Франсуа Симианом придает ей квантитативный характер. Фернан Бродель, у которого я принимаю эстафету в Коллеж де Франс, и многие другие профессора, преподающие сегодня в Париже, Ренне, Тулузе, Экс-ан-Провансе, обеспечили этой разбившейся на множество центров группе стабильное официальное признание. Школа так же нетороплива в своем развитии, как и изучаемые ею общества, она соизмеряет свои ритмы с протяженностью нашего столетия. Подобно старому кроту, зарывшемуся в нору, она не хочет покидать подземные ходы, проявляя редкостное равнодушие к событиям, происходящим на поверхности. Будь то изменения научной моды или длины юбок, то опускающихся до щиколоток, то поднимающихся выше колен, невозмутимый историк школы «Анналов» даже не подумает под них подстраиваться. Поистине справедливо, что история принимает участие в общей с точными науками работе, внимая проходящему миру, такому, каков он на самом деле. Она не может постоянно приравниваться к очередным требованиям, диктуемым ателье высокой моды или магазинами готового платья.

О значении количественных методов, которые революционизировали сам способ исторического исследования, можно получить представление, прочитав книгу Роберта Фогеля и Стэнли Энгермана, посвященную экономике рабства в Соединенных Штатах. Я позволю себе здесь вкратце обосновать исключительную важность данного труда. Он основан на данных анкет переписей населения, финансовых отчетах плантаций, а также на множестве вычислений, которые были бы невозможны без помощи компьютера. Выводы же книги выглядят более чем парадоксальными и скандальными, так что какой-нибудь поверхностный или недобросовестный читатель мог бы заподозрить в этой работе неприкрытую апологию рабства. В действительности же оба автора, убежденные сторонники равноправия негров, стремились прежде всего доказать, что один из худших для рабов периодов совпал с эпохой так называемой свободы, берущей свое начало в 1865 г. Результатом их длительных и кропотливых исследований стал вывод о том, что слегка замаскированный расизм аболиционистов в конце концов оказался почти столь же ужасным, как и дискриминация в чистом виде, практиковавшаяся плантаторами до 1860 г. Пионеры в области контрфактической вымышленной истории, Фогель и Энгерман уверенно оценили предположительную цену на рабов в 1889 г. в случае, если бы гражданская война не произошла (цена бы, безусловно, поднялась). С цифрами в руках, авторы книги доказали, что северо-

американское рабство было чрезвычайно выгодной экономической системой. Что бы об этом ни говорили, но в годы, предшествовавшие Гражданской войне, оно вовсе не отмирало. Более того, оно являлось более эффективным, чем способ производства в северных штатах, основанный на свободном труде. Порабощенные негры Юга оказались более производительными работниками, часто более квалифицированными, пригодными и к городским профессиям, и к сельскому тяжелому труду. Они жили нормальной семейной жизнью, которой в подавляющем большинстве случаев совершенно не угрожала разлука, связанная с работорговлей. Материальные условия жизни этих рабов (но отнюдь не психологическое состояние людей, лишенных свободы) были равноценны тем, которые имели белые рабочие той же местности. Степень эксплуатации рабочей силы южными работодателями не была высокой.

Юг Соединенных Штатов в 1860 г. представлял собой область, можно даже сказать квази-нацию, экономически развитую, несмотря на одиозный анахронизм в области человеческих отношений. Благодаря своей экономической эффективности, основанной на строгом расчете, Юг далеко опередил европейский континент, в том числе такие страны, как Франция и Бельгия. Вопреки д'Эпиналю, изображающему его отсталым практически во всех областях, старый Юг тех времен экономически уступал лишь двум наиболее развитым районам мира – Англии и Северу Соединенных Штатов. Однако повторим еще раз, что, предлагая столь вызывающую аргументацию, Фогель и Энгерман вовсе не стремились оправдать или как-то реабилитировать отвратительный феномен рабства. Они лишь хотели со всей очевидностью доказать, что их предшественники в исторической науке плохо делали свое дело, ориентируясь исключительно на язык аболиционистских памфлетов, хотя те и декларировали самые благородные в мире стремления.

Этот урок поучителен и для нас, экономических историков Европы, молодых и постарше. Если мы не воспримем, как Фогель, элементы сложнейшей экономической теории, то наша национальная школа исследователей рискует однажды обнаружить в своем багаже запас слегка обесцененных знаний.

* * *

Заканчивая свои вводные замечания, я приступаю непосредственно к предмету данного курса, то есть к исследованию некоего традиционного аграрного общества эпохи от конца Средневековья до начала XVIII в. Известно, что количественные характеристики этого *объекта*, несмотря на значительные отклонения, все же стремятся к константе. Разумеется, я не хочу этим сказать, что «Франция» в период с 1300 по 1700 г., находясь в своих почти шестиугольных границах времен Вобана*, представляла собой органическое единство. Эта «Франция» до своего «офранцузивания» была не более чем распахнутым пространством, включавшим значимую выборку населения Земли, составлявшую, по подсчетам Вобана (то есть около 1700 г.), 19–20 млн. человек, которых для удобства мы будем именовать «французами». Однако чрезвычайно большое количество национальных и региональных исследований, вращающихся вокруг Поочажной описи

* Вобан (Vauban) С.А.П. де (1633–1707) – маршал Франции, военный инженер и фортификатор. Известен также работами в области экономики. (Прим. ред.)

1328 г. и подкрепленных множеством монографий, посвященных исследованию отдельных провинций, указывают на то, что та же самая страна находясь в тех же самых границах (правда, в 1320 г. их еще не существовало, и для нас они являются не более чем условными), к 1300–1340 гг. насчитывала худо-бедно 17 млн. душ. Но за целые четыре столетия, с 1300–1340 гг. по 1700–1720 гг. прирост населения составил всего лишь 2 млн. человек. Куда уж меньше! Никогда еще, за исключением, возможно, периода с 1865 по 1945 г., мы не были так близки к нулевому демографическому приросту, о котором тщетно молятся специалисты по народонаселению и которого, однако, им не удалось добиться на практике. На самом деле, стихийные средства, использовавшиеся традиционной системой для поддержания собственной стабильности, совершенно непривлекательны для нашей эпохи (я имею в виду, например, эпидемии, вписанные в экосистему, объединяющую человека с его биологической средой, бактериями и хищниками). Описанная мной в общих чертах модель является, таким образом, экодемографической и фактологической, и не претендует на то, чтобы быть нормативной или образцовой.

Другая серия открытий, сделанных недавно французской исторической школой, касается стабильности уровня развития сельскохозяйственной техники и урожая зерновых в период между первой аграрной революцией (а именно, средневековой, XI–XIII вв.) и второй, более поздней (XIX в.). Обходя стороной несколько противоречивый XVIII в., можно констатировать, что уровень развития материального производства между 1320 и 1720 г. *grasso modo* (грубо говоря (ит.) – *Прим. пер.*) был также относительно стабильным. Таким образом, обнаруживается удивительное экологическое равновесие, не исключавшее, естественно, ужасных, но быстро проходящих потрясений, а также негативных тенденций, столь характерных для популяционных изменений в животном мире. Это общее равновесие, столь же чувствительное к внешним воздействиям, как и экономическое, можно представить в виде пасторали. Обитающий в границах зеленого пояса нетронутых лесов, за счет расчисток которых немало увеличилась площадь нови в XI–XIII вв., народ-земледелец на протяжении 12–13 поколений, с 1300 по 1700–1720 гг., живет и воспроизводит себя в рамках имеющихся возможностей, неизбежно ограниченных. Впоследствии, после 1720 г., эти ограничения ослабнут, однако они не исчезнут полностью – например, количественный максимум активного сельского населения Франции, достигнутый в 1850 г., будет превышен лишь в 1914 г., накануне войны. Находясь в рамках периода 1320–1720 гг., я могу, учитывая длительную квазистабильность его демографических параметров а также показателей урожайности зерновых, вступить в дискуссию с убежденными сторонниками концептуализма. Цифры здесь – не капризные слуги концепции, которая была бы совсем не прочь отослать их, поскольку они сопротивляются ее приказам. Наоборот, эта проблематика восстает против самого существования цифр, уводя назад, к старым представлениям о возможностях почти неподвижного состояния.

Данное общество, стабильное в экономическом отношении и почти стабильное демографически, не всегда находилось на одном и том же уровне развития, по крайней мере в период, предшествующий рассматриваемому. С XI по XIII в. оно пережило настоящий, имевший большие последствия рост, который резко увеличил территорию рассе-

ления. Эта экспансия явилась следствием децентрализации власти, только отчасти контролировавшейся феодальными сеньорами. В итоге, старый мир оказался чрезвычайно расположен к поистине чудесному развитию общества. Чудесному во всех отношениях, если мы сравним его с длительной стагнацией на протяжении последовавших за 1300 г. четырех веков. В период с XI по XIII в. то, что было хорошо для феодализма, было хорошо для всей Западной Европы, и особенно для населения будущего «шестиугольника», представляющего наше поле исследований. Только после 1300 г., с формированием крупных национальных государств, вовлеченных в большую политику, появляется угроза мировых войн, которые в будущем станут одним из наиболее эффективных тормозов роста и которые, наряду с другими факторами, внесут свой вклад в прекращение средневекового готического расцвета.

Действительно, период после 1300 г. и приблизительно до 1720 г., скажем, от Филиппа Красивого и до системы Ло*, от плохой инфляции до хорошей, мало чем напоминал времена счастливого и беззаботного развития. Тем не менее, общество, знавшее прежде расширенное воспроизводство, или, говоря более общо, вся экосистема (природа плюс сельское хозяйство, фауна и бактериальная флора плюс человеческий род) в пределах нашей географической выборки оказалась способна к выработке определенных механизмов сдерживания (или давления), блокирующих подъем, стесняющих рост и периодически возвращающих глобальную человеческую массу к точке равновесия. Этот процесс нормализации обусловлен прежде всего действием внешних сил торможения. Впрочем, такая концепция экзогенеза подходит лишь для предварительного анализа, так как легко доказать, что то, что является экзогенным применительно к Европе, эндогенно для Евразии, а затем, начиная с XVI столетия, для всего атлантического мира в целом. Как бы то ни было, а с XI в. западный мир постепенно улучшал свои демографические показатели, расширял взаимный обмен, торговые, колониальные, религиозные, военные контакты и, находясь на подъеме, в конце концов встретился или столкнулся с другими мирами, такими же массивными, точнее такими же экспансионистскими: начиная с XIII в. – с китайским, а с XVI в. – с индо-американским. Что касается первого, то проклятые Богом задворки Центральной Азии, кишашие блохами и зачумленными крысами, начиная с XIV в. оказались пересеченными длинными путями монгольских походов и шелковых караванов, причем последние, благодаря политическому и торговому замирению в сердце старого континента, осуществленному потомками Чингисхана, получили полную свободу передвижения. Таким образом, миграция бактерий и вирусов, усиленная ростом пауперизма, начала осуществляться в масштабах Евразии, а затем Атлантики, стала и европейским, и американским явлением. Этот процесс, как ни прискорбно, не прекратился и по сей день. В результате стали возможными, в неизвестных до 1300 г. масштабах, вспышки инфекционных болезней. Ведущее место среди них занимает, во-первых, «черная смерть» 1348 г., последствия которой будут неотступно преследовать

* Ло (Law) Дж. (1671–1729) – шотландский банкир и экономист, основавший во Франции эмиссионный, депозитный и учетный банки, а также акционерную Индийскую компанию. Ввел систему выпуска ценных бумаг с золотым обеспечением. (Прим. ред.)

«нежную Францию» (*doulce France*) вплоть до последней, Марсельской чумы 1720 г.; а, во-вторых, невиданное по масштабам вымирание американских индейцев между 1492 и 1532 г., превзошедшее своими ужасными последствиями эпидемии чумы на Западе. Оно было вызвано инфекцией, которую принесли с собой кастильские завоеватели. Вторжение европейцев в Америку резко ухудшило и европейскую демографическую ситуацию – я имею в виду сифилис. Однако его распространение в Европе не было ответной реакцией на «геноцид», осуществленный в Новом Свете конкистадорами из латинских стран. В XVI, так как и в XIV в., действовали факторы общемирового загрязнения. Они выявлены, классифицированы, их ответственность определена. В плане исторической фактологии, я позволю себе попутно указать на убийственную роль генуэзцев, виновных вдвойне: *primo*, вследствие взятой ими на себя роли лидеров в организации азиатских шелковых караванов; *secundo*, из-за того, что один из наиболее выдающихся их сограждан, Христофор Колумб, находился во главе Конкисты. Великому городу, великому порту – великие пандемии.

Микробная унификация мира, совершившаяся не без жертв в период между 1300 и 1650 г., явилась одним из наиболее мощных факторов стабилизации нашей экосистемы, произошедшей между этими двумя датами. Разумеется, эта стабилизация реализовалась волнами, которые были либо огромными (я имею в виду эпидемии XIV и XVI вв.), либо имели вид постепенно затухающих колебаний. К 1320 г. Франция, расположенная в условных рамках шестиугольника, насчитывала по крайней мере 17 млн. жителей. Осмелюсь утверждать, что к 1440 г. там осталось не более 10 млн. человек. Однако с 1550 и вплоть до 1715 г. цифра в 17 млн., характеризующая Позднее Средневековье, снова восстанавливается. Я думаю, она была даже выше, и от эпохи к эпохе, от периодов нищеты и упадка до времен изобилия и расцвета, сменявших друг друга на протяжении этого «длинного XVII в.», численность населения французского «шестиугольника» колебалась между 19 и 20 млн. человек. Однако не только микробная унификация выступала в качестве сдерживающего элемента, стабилизирующего экосистему. Другим внушительным «фактором» блокировки, действовавшим с XIV в. и вплоть до середины XVIII в., были войны. И, наконец, кроме войн – это государство или общность, претендующая на это название. Здесь можно говорить о более широкой, межгосударственной (международной) системе, т.к. на ее фоне очень хорошо видны периоды проявления воинственности на Западе.

В самом деле, в предшествующую эпоху (XI–XIII вв.), когда вооруженные конфликты лишь слегка разрывали простое, плотно связанное плато старого доброго феодализма, они имели все шансы оставаться локальными. Ведь повреждали они только один, небольшой кусок ткани, который в этих условиях можно было быстро залатать. Однако по мере формирования больших королевств ситуация кардинально меняется. Великие государства вырастали, следуя своей внутренней логике. Их возглавляли личности, которые, как правило, отличались близорукостью, длинными руками и короткими мыслями. Они ввязывались в войны, затрагивавшие многие народы, и которые, как впоследствии оказывалось, они не в состоянии были завершить за 30, 100 и более лет. Эти войны не обязательно были кровопролитными, т.к. их смертоносная сила, помимо всего прочего, зависела от размеров армии, которая на протяжении длительного периода, как правило, не превышала 10 тыс. чело-

век (хотя при старине Людовике XIV она насчитывала целых 500 тыс. штук). Как следствие, масштабы прямых потерь в результате военных действий были не очень велики... Маленькие армии «красномордых разбойников» (*trognes armees*) запускали механизм действия побочных причин. Во время войн стремительно растет число солдат, беженцев, странников, торговцев. Они-то и сеяли эпидемии, переносили вирусы тифа и чумы. Всего одна худосочная армия в 8000 человек, совершая затеянную Ришелье прогулку, пересекала Францию из конца в конец – от Ля Рошели до Монфера. Но это стало причиной гибели от чумы более одного миллиона человек в результате пандемий (см. неизданную работу д-ра Бирабена (*Viraben*) о чуме), которые, начиная с 1627–1628 гг., распространяла эта крошечная армия, вне всякого сомнения не догадывавшаяся о том, что именно это и было ценой проводившейся кардиналом политики усмирения протестантов. Война имела и другие последствия. Так, когда солдаты мародерствовали, отбирая коров и лошадей, уничтожая мельницы и фермы, сжигая амбары, полные зерна, дезинтегрировался сельскохозяйственный капитал. К этому зачастую добавлялись дополнительные факторы роста смертности, а также безотчетная паника, которая на время полевых работ (сев, возделывание почвы, жатва) удерживала напуганных крестьян за стенами защищенных городов. С тех пор крестьянство, истекающее кровью и обнищавшее, ощущало себя в некотором роде раздавленным и обобраным до нитки. Итак, в определенных условиях даже незначительные сами по себе военные действия оказывались достаточными, чтобы сделать невозможным простое производство экономики и экодемографии Старого Режима. В Нормандии подобные явления наблюдались уже около 1430 г. В результате, как показал в своей диссертации Ги Буа (*Gui Bois*¹), население этой провинции уменьшилось на 28% от уровня, зарегистрированного до Столетней войны. С полным основанием Ги Буа называет произошедшее «моделью Хиросимы». В эпоху Жанны д'Арк указанные четыре фактора – война, чума, эпидемии и голод – играли гораздо большую роль, чем упадок экономики *per se* (в чистом виде (лат.) – *Прим. пер.*), масштабы которого легко переоценить, если судить с точки зрения традиционного экономического подхода. Именно благодаря этим четырем всадникам Апокалипсиса и произошло внезапное вымирание Франции в XV в. Выражаясь точнее, скажем, что упадок экономики в эпоху позднего средневековья, взятый в контексте прочих факторов и переменных, одновременно являлся и причиной, и следствием, но, несомненно, более следствием, чем причиной. Вслед за великим возрождением и восстановлением численности нашего населения в 1440–1560 гг. наступил новый период, длившийся с 1560 по 1715 гг., когда война, сопровождавшаяся голодом и инфекциями, более чем когда-либо была одним из главных регуляторов численности населения. Она выравнивала, или, говоря точнее, существенно понижала показатели нашей экодемографической системы вплоть до начала ее следующего восстановления. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к фундаментальному исследованию, посвященному размерам десятины, которое появилось благодаря дружескому отношению со стороны г-на Жозефа Гоа (см.: *Goy et Le Roy Ladurie*, 1973). Три великих периода замедления роста, сопровождаемые, естественно, ужасными страданиями, четко видны на общей линии нашего развития – это религиозные войны (1560–1595 гг.), Тридцатилетняя война и Фрон-

¹ См. *Gui Bois* (неизданная работа).

да (1635–1653 гг.), а также войны конца царствования Людовика XIV (1690–1715 гг.).

Невозможно говорить о войне как о сдерживающем факторе роста народонаселения в духе теории Мальтуса, не затрагивая вопроса о постоянной армии, прообразе будущих бюрократий. Вместе с тем я полагаю, что прообразом служило и само государство Нового Времени, так называемая абсолютистская монархия, с ее административным, репрессивным характером, выполнявшая роль раздатчика должностей. С XIV по XVII в. она доминирует, может быть, даже чрезмерно (если полагаться в этом вопросе на свидетельства старой историографии, стоящей на центристских позициях) над всеми областями жизни. Важно подчеркнуть двойственность воздействия монархического государства на динамику экodemографии – объект нашего исследования. Сквозь призму веберовского видения государство выступает, прежде всего, как модернизатор. Благодаря феномену, который Пьер Шоню не побоялся назвать техноструктурой, можно было стимулировать развитие в сфере экономики, культуры и общества. Однако с XIV по XVII в. осуществление модернизации часто сводилось на нет действиями, ведущими к упадку. Перечитаем еще раз последнюю книгу Пьера Губера, посвященную Старому Режиму (Gouber, 1973). Мы увидим, что монархическое государство в большой степени являлось военным институтом, самостоятельно утвердившимся в европейской политической системе. На содержание этого института тратилось больше половины государственного бюджета. Он копал могилу для нации гораздо успешнее, чем это когда-либо делал Версальский двор. В период с 1315 по 1715 г. государство и армия, которые были одними из главных регуляторов окружающей экodemографической среды, фактически ее пожирала. Я не разделяю точку зрения Панглосса, считавшего, что все, что ни делается, все к лучшему. Получается, что подобно той дыне, которая сама нарезала себя на кусочки, чтобы быть съеденной в кругу собственной семьи, западное общество специально обзавелось государствами-Молохами, предназначенными для разрывания своими крепкими зубами всех подряд во время устраиваемых каждые тридцать лет жертвоприношений. И все это для того, чтобы сообща дойти до нужного верхнего предела численности народонаселения и таким образом дать уцелевшим попробовать сочные плоды достигнутого равновесия. Мне чужд подобный финалистский и одновременно полемологический взгляд, и я привожу его здесь лишь как пример фантома, с которым нужно бороться. Хотелось бы подчеркнуть, что длительное равновесие, которое, как мне кажется, характеризует предмет моих исследований, достигается только через трагедии, и вчера, в большей степени чем сегодня, посредством политики, а следовательно – войны. Наконец, экосистеме животного мира требуется хищник. Войны во Франции классического периода были хищническими, поскольку несли смерть, но они были таковыми и благодаря налогам, которые порождали нищету и кризисы (вспомним злополучный конец царствования Людовика XIV).

На самом же деле государство полностью берет на себя широкие и плодотворные, то есть современные, экономические функции только после определенного переломного периода, который, за неимением лучшего термина, я бы определил как «диалектический». Этот период наступает после 1715 г., когда начинается пора «кружевных» войн, просвещенных

интендантов и чиновников-статистиков. Эпоха Просвещения одновременно была счастливым временем демографического всплеска XVIII в. И, наконец, последний импульс к сооружению постоянного фундамента для будущих поколений дала Французская революция 1789 г. Следует отметить, однако, что этот импульс, вследствие войн 1792–1815 гг., несколько раз внезапно менял направление своего действия на противоположное.

* * *

Настоящие рассуждения по поводу государства заставляют меня обратить внимание на один из парадоксов модернизации. Государство, война, армия, а также лавина бед, которые они несут с собой, подводят нацию к последней черте. И все это во имя реализации зловещей логики мальтузианского подхода к проблеме демографического регулирования, которая действительно помогает избавиться от ужасов стихийного роста численности населения. Проводимая политика балансирования на краю пропасти, тем не менее, стоит тех новшеств, которые появились в XVI в. Следует ли напоминать, что с XIV по XVII в., и даже позднее, французы, в своей основной массе, за исключением небольшой элиты, существовали в относительно стабильном культурном пространстве: они жаргонизировали свои диалекты и исповедовали католицизм полуфольклорного характера, который был основой их религиозности. Вторжение протестантской Реформации, опиравшейся на книгопечатание и грамотность небольшой части населения, в подобной среде встречало отпор. Ведь не можем же мы безнаказанно вшить сердце гугенота в тело, которое еще полностью ощущает себя католическим. И когда крестьяне лишаются культа Девы Марии, а вместе с ней и всех святых, благодаря которым языческие лесные и прочие божества обретаю антропоморфный облик, – жди ответных действий. В период с 1560 по 1685 г. Францию охватила жажда возмездия, которая была аллергической и панической реакцией одновременно. Она владела умами вплоть до отторжения инородного тела, до окончательного триумфа папистской традиции, заново подреставрированной с помощью Контрреформации. И это – до обретения вновь кажущегося единства веры. Первый период этого сопротивления с 1560 по 1595 г. характеризовался беспрецедентным насилием. Идентифицируясь с *backlash* (ответным ударом (англ.) – *Прим. пер.*) религиозных войн, требовавших огромных людских жертв, эта реакция одновременно явилась одним из наиболее мощных стабилизаторов нашей системы. Она остановила неконтролируемую демографическую экспансию эпохи Ренессанса, когда люди размножались подобно крысам в стогу сена или мышам в амбаре. К тому же, благодаря наступившей вслед обратной реакции, попытка модернизации способствовала усилению репрессивного и стагнационного характера системы, которая после 1600 г. вышла из испытаний, украшенная геройскими шрамами, оставаясь до конца, вплоть до мельчайших штрихов, верной себе.

Естественно, абсурдно и даже глупо все объяснять войной, которая, будучи *ultima ratio* (последним доводом (лат.) – *Прим. пер.*) нашей системы, служила лишь последним средством. На протяжении «длинного XVIII в.», продолжавшегося с 1560 до 1715 г., влияние войн сказалось только в трех случаях (смотри выше). В общем и целом, на двадцать четыре года войны приходилось двадцать четыре года мира, или полу-мира внутри собственных границ. Мы должны отметить, что помимо военных парот-

ксизмов, существовал абсолютно мирный способ достижения стабильности, а именно – эпидемии в чистом виде. Великая книга Франсуа Лебрена, посвященная Анжу (Lebrun, 1971), уточняет все недостающие детали этой картины. Осмелюсь сказать, что Лебрен избрал чрезвычайно выигранный предмет исследования. В XVIII в., когда во Франции наблюдался стремительный демографический рост, в результате которого население страны увеличилось с 19 до 27 млн. жителей, как исключение существовали отдельные области, которые оставались бастионом демографической стабильности. Это Бретань и, в особенности, Анжу, где с 1700 по 1789 г. демографический рост был совершенно (и в жесткой форме) заблокирован, прирост населения был нулевым. В данном случае стагнация ни в коей мере не являлась результатом войны. Анжу, чрезвычайно удаленный от театра военных действий, ни при Людовике XIV, ни при Людовике XV, ни при Людовике XVI, не знал ни военных конфликтов, ни (после 1710 г.) – голода. Следует, таким образом, искать иное объяснение. Хотя Франсуа Лебрен совершенно не стремился его найти и доказать, что неспособность населения Анжу к демографическому росту была обусловлена, в первую очередь, инфекционными заболеваниями, все обстояло именно так. Как только на территории Анжу намечался демографический подъем, почти тотчас же в этой области, где люди не соблюдали гигиены и пили зараженную воду Луары, возникала дизентерийная инфекция, которая косила людей тысячами, обрывая демографическую экспансию в самом ее начале. Отдавая дань своеобразного уважения изнеженности анжуйцев, следует, однако, заметить, что такая грубая и жесткая форма регуляции существует и в животном мире, а именно у высших обезьян – животных, наиболее близких человеку. В группах островных обезьян, которых исследовал один британский этнолог², дизентерийная инфекция, в результате множасьихся контактов между особями, разрасталась по мере увеличения популяции обезьян. Напротив, инфекция утихала, когда, по окончании каждой эпидемии, животных становилось меньше и они могли позволить себе роскошь относительного уединения, более или менее оберегавшего их от угрожающих смертью контактов. В результате численность обезьян снова возрастала до тех пор, пока это опять не провоцировало следующую инфекционную волну, которая возвращала ситуацию к исходному пункту, и т.д. К несчастью для анжуйцев, так же как и для островных обезьян, дизентерия выполняла ту же функцию, что и возвратный механизм (*regulateur a boules*) в паровой машине Уатта.

Может ли этот факт устойчивого эпидемического регулирования подвергнуть сомнению теорию, которой придерживались на протяжении тридцати лет, и согласно которой численность городского и сельского населения в эпоху Старого режима регулировалась благодаря голоду? Не обязательно. Остается неоспоримым только, что периоды голода XVII в., счастливо преодоленные после 1741 г., были ужасными для своего времени. В этой связи особую ценность представляют последние работы по этой проблеме, поскольку они заставляют вспомнить о том, что феномен голода не должен отрываться от своего контекста, в котором он является «глобальным социальным фактом». На раннем этапе развития голод был связан с войнами. Сопровождавший

² См. работы В.Чанса (V.Chance), доложенные на коллоквиуме в Руамонте, посвященном человеку, в 1972 г.

их рост страданий и налогов часто порождал нищету, превращая войны в фон, на котором голод обретал свои конкретные очертания (в этой связи см. яркую работу Debard, 1972). Позднее голод и эпидемии, которые им вызываются, шли нога в ногу, так как, во-первых, истощение является благоприятной почвой для инфекций, а, во-вторых, голод порождает нищих, главных носителей вирусов. В конце концов голод мне представляется последним способом регулирования, к ужасам которого иногда должна прибегать природа, стремясь во что бы то ни стало установить верховенство демографического баланса. Обычно еще до того как произойдет истощение ресурсов до уровня голода, вступают в силу экзогенные и эндогенные регуляторы, такие, как чума, войны, эпидемии, поздние браки. Они, эти ограничители демографического роста, делают свое дело до тех пор, пока не заходят слишком далеко, приводя к значительным негативным изменениям.

Города в этом смысле не были исключением. Там тоже всегда вступали в действие тормоза, сводящие прирост к нулевому уровню. Так, в одной маленькой деревеньке парижского округа уже в XVIII в. только за один год умерли 142 парижских ребенка, отданных в пансион к местным кормилицам. И вот один еще более невероятный факт, о котором сообщает Марсель Ляшивер: в течение 30 месяцев 31 городской младенец один за другим отдавался в эту деревню одной паре, вероятно, туберкулезной, где супруга была платной кормилицей. Каждое из этих маленьких существ умирало в течение нескольких недель. В данном экстремальном и чудовищном случае мы имеем дело с организованным, или, по крайней мере, безнаказанным убийством детей. Однако этот трагический опыт красноречиво напоминает нам о том, что наши большие города классического периода, сколь бы они ни были блестящими, заслуживают прозвища «городов-могил». Другими словами, можно сказать, что они представляли собой демографические клапаны, абсорбируя избыток населения, который поставляла туда деревня. И затем обрекали на смерть или бесплодие большую часть этого избытка с помощью скоротечной чахотки, экспорта бесконечного числа младенцев к кормилицам-убийцам и невоспроизводства молодых, засиживавшихся в девушках мигранток, которым был уготован вечный целибат или поздний брак. Откройте и почитайте в этой связи книгу Мориса Гардена (Garden, 1970).

Картина, только что представленная мной, может показаться преувеличенно пессимистичной. Однако смерть действительно играет существенную роль в регулировании численности населения. Вряд ли правомерно говорить о серьезном значении более мягких, контрацептивных способов контроля, ведь они совсем не были распространены на протяжении четырех веков, рассмотренных нами. Табу полурелигиозного, полу-антропологического характера, которое тяготело над западными странами относительно *coitus interruptus* (прерванного полового акта (лат.) – *Прим. пер.*), начинает исчезать только в XVIII в. и лишь среди имущих классов. У крестьян же ослабление табу наблюдается только с началом Французской революции, о которой известно, что в этом плане она представляла собой демографический ислам (см., среди прочих, исследование Ganiage, 1973).

Очевидно, наиболее важными для нашей эпохи являются данные, относящиеся к позднему браку. Согласно Пьеру Шоню (Chaunu, 1966), этот обычай являлся «самым лучшим контрацептивным средством в тради-

ционной Европе». И в самом деле, вступление девушек в брак в возрасте 25 – 26 лет, при условии, что ему предшествовало строгое добрачное воздержание, позволяло избежать трех или четырех рождений. Дополнительное преимущество состояло в том, что практика общепринятого целибата, который соблюдали вплоть до часа свадьбы, очень соответствовала идеологии воздержания, пуританству и янсенизму. Став популярными, эти суровые идеологии пережили всесторонний расцвет в доиндустриальной Европе между 1580 и 1780 г. Если верить Максу Веберу, то немного позднее именно они способствовали утверждению мелкобуржуазного, или капиталистического, духа. Однако начиная с XVII–XVIII вв., может быть, не найдя им лучшего применения, эти установки использовали, например, для обоснования запрета нарушения девственности, который накладывался на молодых людей со времени их созревания и до свадьбы, то есть должен был соблюдаться почти десять лет. В деревне, прежде чем жениться, нужно было, храня девственность, долго дожидаться получения во владение или наследство дома для самостоятельной жизни.

Подобный взгляд на поздний брак в научном плане перспективен и исторически оправдан. Как мы только что видели, он основывается на старых веберовских исследованиях личности и дополняется открытиями этнографов и биологов, которые, идя по пути Карра Сандерса и Вина Эдварда, находят у человека и животных бесчисленные антипопуляционные меры. (У птиц, например, они могут быть основаны на ограничении количества гнезд). В данном случае можно было бы говорить о глобальной теории систем демографического контроля, применимой как к человеку, так и к животному. Не мне охлаждать интерес, который вызывают подобные междисциплинарные подходы, поскольку я сам всегда стремился участвовать в их разработке. И тем не менее, надо признать, что в позднейших исследованиях, касающихся снижения численности населения в прошлом, дается интерпретацию, несколько отличную от вышеизложенной, и представляющуюся мне более точной. В этих работах подчеркивается регулятивная роль именно смерти, которая, как кажется, восторжествовала над более разумными способами, основывающимися на воздержании. О контрацепции здесь речи нет. Возьмите в этой связи математические модели Жака Дюпакье, в которых поздний брак практически не рассматривается в качестве фактора, регулирующего численность населения (Duraquier et Demonet, 1972).

* * *

Теоретики стабильности определили ее как вечное движение, стремящееся к такому модусу, в котором срединное и финальное состояния воспроизводят в основном фундаментальные черты первоначального. Эта теория воспроизводства справедлива для нашей сельской экосистемы, которая, несмотря на громадные изменения в надстройке, в конце концов внутренне оказывается очень схожей (накануне голода в эпоху Фронды, а также в 1693 и 1709 гг.) с той, какой она была за три с половиной или четыре века до этого, накануне голода 1315 г. Главные демографические и экологические, как и социологические, параметры с течением времени подвергались колебаниям, но не изменились к лучшему. Чем дольше существовала систем, тем яснее становилась ее неизменность: и в 1320 и в 1680 г. активное сельское население

ние, общая численность которого удерживалась на одном и том же уровне, обрабатывало свои наделы совершенно неменяющимися орудиями. Урожайность почвы не увеличивалась, и в результате каждые тридцать лет несколько сотен тысяч людей становились прямыми или косвенными жертвами голода. Естественно, в обоих случаях, – как при голоде, так и при эпидемиях, – система функционировала практически на грани своих возможностей, в условиях, критических для выживания. Происходящие в результате экологические катастрофы возвращали систему в исходное состояние, о чем свидетельствуют показатели численности населения и площади обрабатываемой земли (так было, к примеру, около 1430 г. и, в менее тяжелой степени, – около 1695 и 1711 гг.). Эти несчастья, однако, не могли воспрепятствовать регенерации системы. Повинуясь своим внутренним законам, она залечивала раны. Подобная перестройка или возрождение, вполне понятно, сопровождалась некоторыми, порой значительными, изменениями, но при единственном условии – они согласовывались с логикой системы. Одна из таких трансформаций, произошедших на территории французского шестигольника, касалась сферы торговли, оказавшей мощное воздействие на земледелие. Воплощалось это, как известно, в первую очередь на домениальных землях, которые, особенно когда они сдавались в аренду, парадоксальным образом становились источником капиталистической модернизации. Подобная модификация действовала на разных уровнях. Во-первых, укрепление государства и урбанизация лишали сеньора части его ролевых функций. Он чаще всего превращался не более чем в номинального обладателя политических или полицейских полномочий. В какой-то степени он утратил свою функцию маленького племенного вождя в деревне. Его прошлые властные полномочия, которые носили полугосударственный характер, перешли к военным, или королевской и городской бюрократии. Во-вторых, коммерциализация, так же как и урбанизация, увеличили значение сеньориального резерва. Сеньор накапливал избытки зерна и скота, в то время как мелкие собственники были принуждены ограничиваться текущим личным потреблением. Сеньория, не переставая быть самой собой на протяжении Средневековья и вплоть до XVIII в., становилась все менее и менее феодальной и все более и более капиталистической или, по крайней мере, физиократической. Сеньориальная система в эпоху Просвещения оставалась реакционной по форме, но рентабельной по содержанию вплоть до крестьянской революции 1789 г., обеспечившей парцеллярное дробление земли и оказавшейся, тем самым, экономически регрессивной.

Однако, оставим эти нюансы. В конечном счете, они второстепенны для исследуемого мною исторического объекта. В целом же, вплоть до 1720 г., доминирует состояние стабильности, включая, конечно, сопутствующие ей изменения. Продуктивность земли за этот период совсем не повысилась. Из-за этого для поддержания существования городов требовалось постоянно использовать огромные площади феодальных вотчин и домениальных земель. Какими бы ни были перемены между 1300 и 1720 г., они не изменили существа способа производства, наполовину мелкокрестьянского, наполовину феодального, который постоянно господствовал в нашем сельскохозяйственном мире.

Вывод, к которому я пришел, состоит в том, что квазистабильность не есть неподвижность. Существуют чисто внутренние изменения и колебания данной системы. Немецкий историк Вильгельм Абель пришел,

вслед за Давидом Рикардо, к такому же заключению, исходя из большой амплитуды подобных колебаний (Abel, 1974). В действительности, Абель с удовольствием играет отношениями между текучестью населения и свободной землей, устанавливаемыми через социальные структуры. Таким образом, он предоставляет нам возможность наблюдать некий пасьянс переменных. Объективно растущая земельная рента, низкие заработки, дробление земли в начале XIV в. Слияние земель, приличные заработки и пятидневная рабочая неделя; низкая рента, обрекающая сеньоров на гангстеризм: все это характерно для периода с 1350 по 1450 г. Восстановление численности населения, дробление земель, уменьшение заработков; процветание рантье, сеньоров и буржуазии в XVI в. Затем опять, консолидация доходов и доменов, а главное – с момента, который не удастся точно определить, и в течение всего XVII в. – уменьшение ренты.

Нужно ли в этой связи напоминать о движении денег, о потоке серебра с рудников Потоси в Латинской Америке и о его истощении? Впрочем, в некоторых недавних исследованиях, основанных на методах радиоуглеродного анализа, показано, что роль денег в формировании длинных волн в экономике была меньше, чем считалось ранее (см., например: Gordus et Gordus, 1972). Что касается технологических нововведений, то в генезисе последовательных изменений, описанных Абелем, они играли слабую роль. В действительности они, скорее, объясняют движение вперед и назад, вверх и вниз или возвращение на круги своя, нежели необратимый рост или упадок.

Серьезные изменения в экономике, упоминаемые немецким историком, являются производными великих демографических скачков, а это в конце концов означает, что, оставляя в стороне все промежуточные звенья, экономические изменения зависели от биологических факторов и ритма микробной агрессии, и обуславливались ими в значительно большей степени, чем изменениями предполагаемых или реальных показателей уровня жизни. Поэтому данные изменения – в большей степени рикардианского, чем мальтузианского типа. В этой связи я позволю себе присоединить свой скрипучий голос к парижскому хору противников экономизма. С XIV по XVII в. включительно экономика являлась больше служанкой, чем госпожой, более ведомой, чем ведущей. Как бы она ни была важна для подготовительных исследований, при заключительном анализе она отступает перед великими силами жизни и смерти. Что касается политических решений или классовой борьбы, то в рассматриваемую нами эпоху время их власти еще не пришло, по крайней мере их власть еще не проявляла себя в специфической форме.

В подобном ультраадаптивном контексте система становится воплощением судьбы. Попытки изменить ее не оказывают на нее ни малейшего воздействия. Постоянно возникающие крестьянские бунты абсолютно не являются примерами антифеодальной борьбы, что иллюстрируется такими известными крестьянскими восстаниями, как французская Жакерия или Крестьянская война в Германии. В целом, участники аграрных восстаний, по крайней мере во Франции, выступали за возвращение старых добрых времен; восстания были направлены против новых веяний, и прежде всего – против наиболее скандального явления, понемногу проникавшего в самое сердце системы и сосредоточившегося вокруг всегда почитаемой королевской особы, а именно против разрастания

администрации и финансовой бюрократии, занимавшихся откупом налогов. По большому счету, крестьянские восстания классического периода, как их описывают в разных терминах Поршневу и Мунье, были реакцией на усиление государственного гнета, особенно в финансовой и военной областях, на дополнительный налоговый пресс. Известно, что в продолжительный период крупных восстаний между 1605 и 1690 г. расходы королевской казны увеличились со 192 т. чистого серебра до 1 050 т. (в эквиваленте драгоценного металла) (Goubert, 1973, v. II, p. 136). Развернувшиеся вскоре вслед за этим волнения крестьян были направлены отнюдь не против сеньоров и "феодальной" знати, хотя и затрагивали иногда их интересы. В действительности, сеньорам, кюре, местным судьям – в силу их "срединного положения" в общине – принадлежала в этих восстаниях роль лидеров. Нужна была культурная мутация эпохи Просвещения, глубоко задевшая крестьянские массы в мятежных провинциях, например, в Бургонии, чтобы в прошлом антифискальные восстания стали антисеньориальными.

Возникает вопрос, не слишком ли легко я пренебрег, рисуя в этой вступительной лекции картину застывшей истории, с медленными катастрофическими изменениями и элементами инволюции, важными нововведениями рассматриваемого периода, будь то ньютоновские теории, «ночь» Паскаля, печь Папена, рост такого огромного города, как Париж, или такие новшества цивилизации, каквилка на столезнайти? Я далек от мысли подвергать сомнению радикально новый характер этих явлений. Но меня интересует будущее и, более того, – небудущее масс. Что касается элиты, то она самореализуется на своем, более высоком уровне, и не имеет особого предназначения, кроме как в перспективе быть заметным меньшинством. Конечно, она – носительница будущего, но в те давние времена она была бессильна подтянуть до своего уровня гигантскую аграрную массу, запутавшуюся в *feed back* (обратных связях (англ.) – *Прим. пер.*) рикардианского типа.

Это бессилие проявлялось на протяжении очень длительного периода, вплоть до 1720 г. Однако после этой даты скопившиеся на протяжении веков силы элитарного обновления, достигнув критической массы, начали стремительно прорастать; крестьянское общество XIV–XVI вв. не знало ничего подобного. Эти новые силы включали в себя: государство; обновленные церковь и образование, более решительные и более действенные; более крепкую монету; более вычурную знать и буржуазию; лучше управляемые домены; усилившееся повсюду обучение грамоте; рациональную бюрократию; активную торговлю; необратимую в конечном счете урбанизацию, заставляющую народ (показатели рождаемости которого выросли крайне незначительно) снова рожать крестьян, чтобы кормить возросшее число горожан. Мудрость это или безумие? Во всяком случае, благодаря всему этому в конце концов открылся ящик Пандоры, и наше аграрное население, пребывающее в своей экосистеме, вынуждено было разрушить старые средневековые нормы, которые условно почитались вплоть до смерти Людовика XIV.

Этот прорыв соответствует эпохе Просвещения, а также, само собой разумеется, и последующим временам, т.е. XIX в. Около 1328 г. насчитывалось 17 млн. «французов», к 1700 г. – 19 млн., т.е. примерно столько же. Однако в 1789 г. их было уже 27 млн. и почти 40 млн. накануне франко-прусской войны 1870 г. В других европейских странах про-

гресс был еще стремительнее. Демографический взлет, сопровождавшийся исчезновением голода, принес с собой определенные излишки чистого сельскохозяйственного продукта, которых, каковыми бы ни были возросшие возможности коммуникаций, хватало и на семена, и на еду. Рост производства продуктов земледелия, сделавший их повсеместно доступными, должен был быть пропорционален росту численности населения страны, а может быть и превосходить его. Именно в этом пункте я дистанцируюсь от одного парадоксального и блестящего труда, который, между прочим, сослужил мне большую службу и даже подсказал название «застывшая история» (см.: Morineau, 1971). Я не думаю, что можно отрицать сельскохозяйственный прогресс в XVIII в. Эта работа примечательна тем, что на основе тщательного изучения фактов, которые относятся к той самой провинции, где происходила аграрная революция (я говорю о самом севере Франции), в ней доказывается отсутствие этой революции. Правда, это доказательство основано на допущении, которое мне не кажется разумным, а именно, что Франция уже с 1670 г. насчитывала 27 млн. жителей³. На мой взгляд, в районе французского «шестиугольника» в XVIII в. происходила если не революция в сельском хозяйстве, то по крайней мере его стремительное развитие. Работы мадам Болан, к сожалению неизданные, анализирующие посмертные описи имущества, совершенно развенчивают миф о крестьянской пауперизации в течение последнего века Старого режима (см. доклад, который был сделан м-м Болан на конгрессе французских историков-экономистов в 1973 г. в секции по изучению потребления).

Таким образом, старые материальные оболочки, до сих пор беспощадно сдерживавшие рост нашего национального Калибана, лопнули. Этим лучше всего объясняются парадоксы воинственности крестьянства, которое в течение 80-х годов XVIII в. образует свой, отнюдь не молчаливый, хор меньшинства. Крестьянство начинает тешить себя надеждами на равенство, ожидая, например, отмены некоторых привилегий дворянства. Однако в то же время, в своем последнем самозабвенном порыве, оно устремилось на защиту парцеллярной собственности, выступая против прогресса капиталистического производства, воплощавшегося в сельской местности в форме аренды доменных земель и феодальной «реакционности» сеньоров. По большому счету это двойственное поведение Госпожи Нищеты обладает внутренней логикой.

* * *

В заключение я бы хотел еще раз сказать о том, сколь многим мы, «другие историки», обязаны гуманитарным наукам за определение предмета наших исследований. Из-за недостатка времени я постараюсь быстро рассеять возможные неясности в этом вопросе. Вплоть до предшествующего столетия научное познание как таковое основывалось на диалоге двух культур: точных и гуманитарных наук, математики и интуиции, духа геометрии и духа изящного. Конечно, со времен

³ «С учетом чрезмерной смертности, почти повсеместной между 1680 и 1700 г. [я бы сказал – между 1680 и 1715 г. – Л.Р.Л.], во Франции накануне Революции численность населения была такой же, как и в 1670 г.» (Morineau, p.366)

Фукидида и Мишле история являлась частью гуманитарных наук. А позднее появилась, сначала украдкой, затем открыто и явно, «третья культура» – социальные науки. В течение длительного времени они составляли хорошую партию с историей; между ними по разным линиям – от Маркса до Вебера, от Дюркгейма до Фрейда – наблюдался постоянный обмен концепциями и перебежчиками. Однако совсем недавно кое-кому вздумалось отрицать толщину старого Хроноса. Этим занялись социальные науки, претендующие на безупречность и твердость, в противоположность истории, обвиненной в мягкости. В ходе этого поединка у нападающей стороны выявилось наличие большого невежества и определенной изворотливости. Ее представители постарались забыть, что со времен Блока, Броделя и Лябруса история подверглась научной мутации. Однажды во время купания она взяла одежды социальных наук, а те даже не заметили своей наготы. Сегодня, кажется, настала очередь социальных наук впасть в ничтожество. И чтобы закончить, я, как и все, обращаюсь к действительности: нельзя построить гуманитарную науку, не учитывая толщины прошлого, так же как нельзя основать астрофизику, не зная возраста звезд или галактик. История после нескольких десятилетий пребывания в полунемилости в качестве маленькой Золушки социальных наук вновь обретает то выдающееся место, которое она было утратила. Она сумела исчезнуть в удобный момент, отказавшись от нарциссического дискурса, который истончается от саморефлексии и празднований юбилеев. И в то время, когда повсюду уже объявили о ее исчезновении, она просто-напросто появилась с другой стороны зеркала, чтобы направить погоню за собой по следу Другого.

ЛИТЕРАТУРА

- Abel W.** Crises agraires (XIe – XIXe siècles). Traduit de l'allemand. Paris: Flammarion, 1974.
- Chaunu P.** La Civilisation de l'Europe classique. Paris: Arthaud, 1966.
- Debard J.-M.** Subsistances et pris des grains à Montbeliard de 1571 à 1793. Thèse inédite. Paris: Université de Paris I, 1972.
- Dupaquier J. et Demonet M.** Ce qui fait les familles nombreuses // Annales, juillet–oct. 1972, p.1025 ss.
- Ganiage J.A.** Structures de la natalité dans cinq villages du Beauvaisis // Annales de Normandie, mars 1973.
- Garden M.** Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle. Paris: Les Belles Lettres, 1970.
- Gordus A., Gordus J., Le Roy Ladurie E., Richet D.** Le Potosi et la physique nucléaire // Annales, décembre 1972.
- Goubert P.** L'Ancien Régime. Paris: Armand Colin, 1973.
- Goy J. et Le Roy Ladurie E. (eds.)** Les fluctuations du produit de la dîme. Paris–La Haye: Mouton, 1973.
- Lebrun F.** Les Hommes et la mort en Anjou. Paris–La Haye: Mouton, 1971.
- Morineau M.** Les faux-semblants d'un démarrage économique // Cahiers des Annales, 1971, no.30.